

МУССА БАТЧАЕВ

Рассказ

БЕЛАЯ СКАЛА

Они шли с Украины. Шли долго. Бабье лето только разгорелось. Солнце спускалось очень низко, палило в голову. Обоз останавливался. Жалкие тени повозок и телег прятали людей от зноя. Кто мог — спал, кто не спал — тихо думал, пытаясь угадать свое завтра. Женщины твердили детям, что плакать нельзя, сами плакали — знали, что им можно. Когда очень трудно, слезы помогают.

Вылезшие из хомутов лошади выщипывали по сторонам дороги чахлую зелень. Их не путали: чтобы убежать, надо бегать, а они не могли. Когда спадал зной, обоз трогался опять. Всю ночь и до нового солнца пронзительно скрипели колеса, хрипело лошаде, плакали дети.

Так шли они, не могли, но шли. Сегодня их повозки взбивали пыль на Военно-Сухумской дороге, а впереди, по берегам Кубани и Теберды, лежали маленькие горные аулы.

Малыш сидел в тени огромного дуба. Толстый жук, бороздивший песок, заворожил ребенка. Неподвижный, одетый в желтую рубашонку, он казался большим желудем, сорвавшимся с дуба. Первым обоз заметил он. «Мама, смотри, лошади и люди!» Мариам выглянула через плетень... Змеей изогнувшись на повороте дороги, в аул вползала тяжелая вереница повозок. Во всю длину ее пестрели разноцветные квадраты шалей и одеял и прочего тряпья, растянутого над повозками. В их тени, среди запыленного скарба, сидели запыленные люди. По обочинам дороги,

Двадцатый век.

Бродивших по дорогам.

среди пожаров, к мысли привело:

легко быть зверем,

и легко быть богом,

быть человеком — это тяжело.

(Евгений Винокуров).

понукая измученных лошадей, плелись старики...

«Мама, эти бородачи напились бузы,— заявил Османчик,— дед Бабо ходит так же, когда напьется бузы». «Нет, сынок. Не бузы — они хлебнули горя». Османчик не знал, что это за питье, и замолчал. Хвост обоза извивался еще на повороте, когда первые повозки поравнялись с дубом. Здесь головная лошадь остановилась, покачиваясь на широко расставленных ногах. Казалось, что упасть ей мешают только оглобли. Грива свалилась в войлок, уши обвисли, в фиолетовом зрачке мерцала глубокая тоска. Назойливые мухи и мушки ползали по ее губам, по раздутым ноздрям, забивали глаза. Она не отмахивалась — ей было все равно.

Выходили из зеленых дворикув аульчане. Толпились у повозок, помогали распрягать лошадей. Больше всего народу собралось у дома Мариам в тени дуба. С первой повозки ссадили сюда на цветастый войлок большую старуху и малышей. К дубу потянулись со всех повозок.

Молча смотрели хозяева на гостей. Видели сморщенное лицо старухи, потрескавшиеся губы детей, угрюмые выцветшие глаза незнакомых стариков и женщин. «Большой грех совершили эти несчастные, раз небо покарало их так сурово»,— думали аульчане и переводили глаза на разбитые ноги лошадей, которых мальчики осторожно гнали сейчас на речной берег вниз: не сошло с неба милосердие и на скотину...

Бабо славился двумя редкими в ауле

качествами — мог выпить много хмельного и хорошо знал русский язык. Он не долго говорил с пришедшими, и не много времени ушло на то, чтобы удовлетворить любопытство аульчан. Не к молочным рекам тянулись эти люди, не за счастьем гнались — они искали спасения от смерти. Позади гремела война, надвигалась фашистская чума, а они были евреи, и шли сюда, в горы Кавказа. Им нельзя было не идти — они хотели жить. Недоумение стояло в глазах горцев, и Бабо спросил за всех: «Почему ненавидят вас те, кого вы называете немцами, для чего им ваша смерть?!» «Мы не немцы — они ненавидят всех, кто не немец». Так ответила красивая женщина, гладившая вихри очень похожего на Османчика малыша. Понурили аульчане головы — знали они, что горы без людей просто камни. Некому здесь защищать обиженных, а джигиты — сила и гордость аула — были там, где полыхали бои.

На мягких лапах подкрадывался к аулу вечер, дымили трубы... С самого начала войны не готовили хозяйки так вкусно, как сегодня.

В каждом доме были гости, и в каждом доме свято чтит старую мудрость: хозяева — рабы гостей. Никто не может служить закону предков так, как горец. В сегодняшнюю ночь почувствовали это и лошади, которые в лучших стойлах сонно жевали свое лошадиное счастье — овес.

Петухи будили долину, надрывались, словно боясь, что без их криков горы замрут навеки. Ранние хозяйки выгоняли навстречу гулкому стаду коров. Утро пахло молоком и травой.

Прошел слух, что немцы подошли совсем близко. Аул встал на ноги, засуетился, как муравейник перед дождем. Под дубом опять собрались люди, хозяева и гости. Совещались недолго... Так много шедшим за спасением приходилось идти опять.

Беженцы разделились на две половины... Хрипло натужились лошади, завизжали колеса. Самые старые и слабые поехали вверх по реке, к глухим теснинам Тебердинского ущелья. Те же, которые с

удивлением почувствовали, что еще способны ходить, должны были укрыться в лесах Каракента, за неприступной грядой Белой скалы. Бабо согласился проводить. Шестеро больных детей оставались в ауле, а их матери уходили от них, чтобы сберечь для ребят свои жизни. Одна из них, та женщина, которая гладила вчера малыша, похожего на Османчика, внезапно бросилась к Мариам, прильнула к ее коленям и заплакала. В плаче было все: и страдание пройденного, и неизвестность предстоящего пути, и тревога за сына, которого оставляла она этой щуплой горянке, и горький упрек острой несправедливости жизни. Язык горя на всех языках одинаков. Сердцем матери поняла Мариам эту мать. «Скажи этой женщине, Бабо,— произнесла она звучно и внушительно,— скажи ей, что я буду беречь ее сына, как Османчика. Пусть она знает, клятва эта будет тверже Белой скалы и священна, как коран».

Начищенной медью виднелся за горизонтом край солнца, беспристрастно оглядывающий все, что творится на земле. Люди двигались на запад, солнце шло вслед за ними, и когда оно скрылось за Каракентом, по Военно-Сухумской дороге, гудя грузовиками и мотоциклами, в аул влетел первый отряд немцев.

Оттуда, где небо упало на землю, лениво вытекала заря. Пастух выгнал стадо и пил крепкий калмыцкий чай. Каждый раз, поднимая чашку для глотка, он придерживал рукою левый ус. Другой ус не мешал: его резко подтягивал вверх шрам, проходивший через всю щеку и кончавшийся там, где должен был быть, но его не было, правый глаз. Половину жизни пастух провел в горах с овцами. Овцам было все равно: одним глазом следит за ними хозяин или двумя. Людей он избегал, а при встречах с ними всегда улыбался. Сначала оттого, что если широко улыбнуться, глаза становятся узкими, до того узкими, что почти не видно, сколько у человека глаз, два или один. Потом это вошло в привычку, и его назвали Смеющимся. К, несчастью иногда привыкают. Смеющийся, может быть, и

смирился бы со своей бедой, если б не давали о ней знать при каждой возможности... В прошлом году, например, его не взяли на фронт. Это все равно, что взобраться на Эльбрус и прокричать на весь горный край: «Смеющийся не годен для войны, смеющийся беспомощен, как сова. Оставить его с бабами и стариками — пусть пасет овец». И он пас. Он рад был бы вообще не спускаться в аул никогда, чтоб не видеть никого, если б не было там маленькой Мариам и маленького Османчика.

Задумавшийся пастух вздрогнул от звуков человеческого голоса. Полтора десятка незнакомых людей шли к его шалашу. Все строго одинаково одетые и все с оружием...

Ему что-то говорили, что-то объясняли, он не понимал и улыбался. Один из незнакомцев, видимо, старший, достал бумагу и карандаш. Смеющийся с удивлением смотрел на нарисованное. В правом углу блокнотного листка белела высокая скала, в левом — вышагивал сам Кюльген, со своим кривым усом, в войлочной шляпе, за ним цепочкой растянулись больше десятка человечков с автоматами. Из-под чабура Смеющегося вырывалась тонкая прямая стрела и упиралась в вершину скалы.

Смеющийся повел отряд к Белой скале — нарисованное ожило.

Евреев выстроили на узком каменном карнизе. За спиной у них была бездна, впереди — черные дула автоматов, а за ними собравшиеся разрядить эти автоматы. Гигантскими пушинками садились на Белую скалу облака, проплывали внизу под ногами. Люди стояли против людей. Злые, напряженные — против усталых и равнодушных, замерших у бездны и желающих сейчас, может быть, только одного, чтобы хлынула скорей из черных кружочков смерть и все кончилось: и это горячее солнце, и усталость, и эти пушистые облака, и немцы...

Автоматы молчали... Убивающие хотели видеть перед собой ненависть: в нее

стрелять легче.

Смеющийся начинал понимать, что совершил преступление. А когда тот самый человек, который хорошо рисовал, приставил пистолет к уху одной из женщин, ему стало ясно — это начало страшного конца. Он выбросил вперед руки, схватил человека с пистолетом за плечи и гневно сверкнул глазом. Тот, изумленный и взбешенный, выстрелил в лоб пастуха. Пуля содрала кожу. Боли не было, была властная нахлынувшая ярость... Высоко подняв над собой стрелявшего, Смеющийся шагнул к бездне...

В него начали стрелять, когда он с пустыми руками повернул назад. Он упал, но поднялся, сжался, как кошка, и пошел на автоматы. На голову навалилось что-то тяжелое...

Заблеяли овцы, улыбнулась Мариам. Мальчик в желтой рубашке крепко обнял за шею... Стало очень больно, стало почти нечем дышать, и солнце погасло — мрак ослепил карий глаз.

С карниза буйно хлынула на автоматы лавина стариков и женщин, лавина ненависти...

К полудню, отыскав родник, Бабо вернулся туда, где оставил тех, для кого искал воду. Первое, что бросилось в глаза, был Смеющийся. Он лежал среди убитых стариков и женщин и единственным глазом смотрел в небо. Рубашка его была изодрана, бритая голова отливала синью. На груди стыла кровь. «Только так, только кровью, можно было смыть пятно на чести... Бедный Смеющийся, бедная Мариам, бедный Османчик — солнышко-сирота...»

Бабо плакал не стесняясь: живых вокруг не было — мертвые ничего не слышали.

После Белой скалы лютые стали лютее. Ночью врывались в каждый дом, переворачивали все вверх дном, искали «юде киндер». И когда ночь ушла, на

берегу реки, дрожа от утреннего холода, жались друг к другу шестеро детей. Человек в белом халате подходил к каждому ребенку, наклонялся, трепал по головкам и чем-то зеленым, чем-то ядовитым трогал сомкнутые детские рты. Дети не плакали, не кричали — падали после зеленого на траву и больше не двигались...

Маленький мальчик в желтой рубашке, мальчик, очень похожий на Османчика, несколько раз поднимал глаза к круче, где стояла онемев от ужаса толпа аульчан — впереди всех Мариам. Человек в белом халате подошел к нему, к последнему, и ласково тронул его губы. И когда малыш упал и замер в траве, наверху раздался крик.

Мариам привели в чувство, терли лоб, грели руки... «О аллах, зачем ты дал этим людям силу, если знал их нрав?! Не пощадили ни детей, ни матерей...» — женщины плакали. Как нашли они дорогу к Белой скале?» «У них была собака,— Мариам твердым взглядом обвела аульчан,— и она была одноглазая. Это был мой муж, мой и ваш позор... А тот мальчик, мальчик в желтой рубашке, который умер сейчас последним, был его сын и мой сын, мое солнышко»...

Люди бросились в дом и вздрогнули: на цветастом войлоке, среди подушек спал другой, очень похожий на Османчика, малыш. «Пусть люди простят — я давала клятву. Выращу его настоящим мужчиной», — она нагнулась и поцеловала потрескавшиеся детские губы... малыш проснулся и заплакал. Широкоплечий старик взял его на руки, поднял его высоко и сказал:

— Не плачь, сын наш, расти настоящим мужчиной и не забудь Белую скалу.

Вечером в аул вернулся Бабо и рассказал, как погиб Смеющийся.